



**Е. КНИПОВИЧ**  
**ОБ АЛЕКСАНДРЕ**  
**БЛОКЕ**

*Воспоминания Дневники Комментарии*

**Е. КНИПОВИЧ**

**ОБ АЛЕКСАНДРЕ  
БЛОКЕ**

*Воспоминания Дневники Комментарии*

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1987

Я не была связана с литературной средой и не испытывала никакого желания в нее входить. И это равнодушие Блок не только поддерживал, но даже, я бы сказала, «культивировал». Более того, он как-то незаметно, не словами, «разрешал» или «запрещал» мне те или иные встречи и знакомства. «Закономерности» в этом я тогда не улавливала, да и не думала о ней. Сейчас я сказала бы, что он «ограждал» меня от моих ровесников (так он «не разрешил» мне дружить с Марусей Неслуховской и закрыл для меня ее дом), особенно от тех, отношения с которыми могли стать неповерхностными. Против внешних или же «светских» встреч, редких при моем образе жизни, он не возражал.

Исключение было сделано (не знаю почему) для Алексея Михайловича Ремизова. С ним Блок меня познакомил сам и затем спокойно и с удовольствием расспрашивал меня о наших встречах. Другьями Блок и Ремизов не были, хотя в период «Сирина», «Розы и Креста», да и раньше, они встречались часто и дружески. Но в годы революции их связывала не только взаимная симпатия и уважение, но и тайная переключка в отношении к человеку, человеческому достоинству, человеческой боли, презрение к пафосу «на ходулях», искусственной, «заемной» романтике. Помню (когда уже мы с Ремизовым подружились), он, увидев

Гумилева, прохаживающегося вдоль пайковой очереди в роскошной дохе, сказал тихонько, но выразительно: «Искусственный бродит жираф» (переиначив гумилевскую строчку «Изысканный бродит жираф»). Эмиграция Ремизова была величайшей дикостью, слабостью, безумием, и хорошо, что, пройдя все мытарства, он умер пусть за рубежом, но с советским паспортом. И хоть это и не относится прямо к тому, о чем я пишу, все же я приведу здесь несколько отрывков из моего дневника 1919—1920 годов.

### *7 августа 1919*

...Читала в Публичной библиотеке, потом зашла к Ремизову. Познакомилась с Серафимой Павловной. Ясное солнышко она. «Приходите завтра вечером». Как у них хорошо. Звери, игрушки на стене — вындрик, куропес, заяц красный, баба-яга.

Старые иконы. Обоев совсем не видно. Все завешано, зарисовано: чертенята, по желтому фону узоры, а в столовой — большое, во всю стену, «Хождение Богородицы по мукам». Все рисует сам Алексей Михайлович — очень хорошо.

### *12 августа 1919*

Третьего дня весь вечер провела у Ремизовых. Удостоилась высокой чести быть принятой в обезьянью палату, и теперь я обезьяньего знака кавалер. Темно. Над столом перед древними иконами горит маленькая красная лампадка, вся комната тонет в высоких книжных полках.

Со стены у дивана глядят диковинки — ухверт, зайцы — красный и синий, куропес, вындрик.

Сажусь на диван. «Тише! Тише! Вы на него сели!» — «На кого?» Из-под подушки, на которую я облокотилась, извлекается диковинный зверь — красноухий, когтистый, лапчатый, длиннорылый, с маленькими свинцовыми глазками — коловертыш («коло бабы-яги вертится — молоко пьет»). Потрескивает лампадка, сидим мы в темноте на диване — Ремизов, князь обезьяний и кавалер Шишков,

дьяк обезьяний Федор Назарыч — регент хора Киевского подворья, человек с голосом ангельским, — курим папиросы, их с невероятной быстротой готовит Ремизов из какого-то подорожника. Серафима Павловна гремит посудой, неспешный разговор идет и о мышке Алишке, она в положенный час выходит из-под пола за пайком, и о покойном Федоре Ивановиче Шеколдине — князе обезьяньем, который ясный был и березки любил, и видно, что Ремизов очень его любит и хочет, чтобы и нам всем он стал близок. Для Шишкова говорит, что он его любил и помнил, для Федора Назарыча — что хорошо знал старообрядчество, для меня — что он Александра Александровича любил и что тот говорит, будто он на его отца похож (и правда — Ал. Ал. мне это вчера говорил и огорчился смертью Шеколдина). Идем вниз — к Федору Назарычу — в экспедицию за водой (у Ремизовых вода не идет), Шишков с ведром, Ремизов с чайником, я — с кувшинчиками. Расписалась, как обезьяньего знака кавалер, под поздравлением Горькому.

*21 августа*

...Я отдыхаю у Ремизова. Тихо в темном кабинете, потрескивает красная лампадка, склонился над бумагой Ремизов, тушью и золотом выводит мудреные заставки. А из столовой льется ангельский голос Федора Назарыча: «Бла-го-чес-ти-во-му раз-бой-ни-ку». Идем туда.

Ремизов весь так и ходит — дирижирует. Точно уже и забыл о смерти, о ладане, венчике на лбу, мертвых руках Федора Ивановича.

«Он — страшный индийский гость, как увидели — все — ой-ой-ой». Шире, шире, описывайте!

На том камне Феникс —  
Птица с ликом девы —  
Песни распевает,  
Перья распускает,  
Море покрывает,  
Кто те песни слышит,  
Все позабывает.

30 августа

Нет, не все еще на свете пропало, пока есть буря Вагнера и... милый А. М. Ремизов, который при красной лампадке рассказывает мне сказки, а в столовой Канкарович напевает: «Баю-баю, медведевы детки, баю-баю-бай, косолапы да мохнаты — баю-баю-бай». И Гребенщиков грохочет страшным басом, ударяя на ó, об Делакруа, о величии Книги (прямо с большой буквы!).

16 сентября 1919

...А с Ремизовым хорошо по-прежнему. Читает он «Царя Максимилиана», а Гребенщиков пляшет от восторга по комнате.

7 ноября 1919

...С Ремизовым у меня образовался род дружбы, хотя мы и разные по возрасту и по складу. Я, очевидно, ему чем-то нужна, и он мне также. Так и сидим вдвоем у печки. Может быть, отношение к боли человеческой нас сближает? Почуяла я это, когда смотрела «Книгу мертвую» — сборник лазаретных рисунков, когда он там лежал на испытании. Сборник всяческих бед, смерти, боли, страдания человеческого.

31.V. 20.

«Иван Александрович Рязановский говорит, что хотя В. Ф. и балерина — веяние от нее такое балетное, — все-таки в ней что-то мужское, а Е. Ф. — это сама женственность. Кухонным мужиком все зовут — и вдруг женственность». И ерошит мне волосы».

Я не помню, кем был по профессии Ф. И. Щеколдин. Я не помню и профессии Ивана Александровича Рязановского, — кажется, он имел отношение к книгам и библиотекам, так же как Яков Петрович Гребенщиков, в удостоверении личности которого девушка-паспортистка, не упра-

вившись с незнакомой профессией — «библиотековед», написала «библиотекодед». Сестра моя Вера Федоровна не была балериной — это один из невинных розыгрышей Ремизова. А кухонным мужиком меня звали за сноровку в черной работе.

Но и дружба с Ремизовыми все-таки находилась «под контролем». Когда (где-то в начале 1920 года) Серафима Павловна (или Си Павловна, как я ее звала) предложила поселиться нам вместе, что облегчило бы мой быт, «добро» со стороны Блока я на это не получила.

«Ох, ревнивище, ревнивище», — качала головой Серафима Павловна.